

Константин Леонтьев

**Не кстати и кстати. Письмо А.А.  
Фету по поводу его юбилея**



Константин Николаевич Леонтьев

## Не кстати и кстати. Письмо А.А. Фету по поводу его юбилея

«...Я уверяю Вас, что я давно бескорыстно или даже самоотверженно мечтал о Вашем юбилее (я объясню дальше, *почему* не только бескорыстно, но, быть может, даже и самоотверженно). Но когда я узнал из газет, что ценители Вашего огромного и в то же время столь тонкого таланта собираются праздновать Ваш юбилей, радость моя и лично дружественная, и, так сказать, критическая, ценительская радость была отуманена, не скажу даже слегка, а сильно отуманена: я с ужасом готовился прочесть в каком-нибудь отчете опять ту убийственную строку, которую я прочел в описании юбилея А. Н. Майкова (тоже высокоценимого мною, признаюсь, с несколько меньшим субъективным пристрастием).

Какая же была эта убийственная строка? ...»

**Константин Николаевич  
Леонтьев**

**Не кстати и кстати. Письмо  
А. А. Фету по поводу его  
юбилея**

*Когда же на Руси бесплодной  
Жизнь обретет кафтан цветной  
И стиль одежды благородный?[1]*

Я послал Вам телеграмму с изъяснением удовольствия моего по случаю Вашего юбилея; я бы прислал ее и раньше, в самый день обеда в Эрмитаже, если бы в газетах был заблаговременно и точно обозначен день этого праздника русской поэзии. Но известие получилось здесь так поздно и было насчет дня так неточно, что я поневоле опоздал. Но что ж делать? Лучше поздно, чем никогда!

Вы давно знаете, как высоко я ценю Ваши стихи; для Вас это не новость; я с 20 лет уже был одним из тех немногих, о которых Вы говорите в Вашем последнем, столь искреннем и прекрасном, стихотворении...

*Полвека ждал друзей я этих не-  
сея,  
Гадал о тех, кто им живой при-  
ют...[2]*

Стихов Некрасова я уже юношей, за немногими исключениями, терпеть не мог и с ранних лет находил, что он мог бы писать гуманные и «демократические» статьи, не заставляя нас читать «деревянные *вирши*», как верно про него выразился Евгений Марков. Понятно поэтому, что я уже несколько лет тому

назад, живя еще в Москве, думал *про себя*, что давно пора, хотя бы посредством обыкновенного юбилея, заявить публично о Ваших заслугах и Вашем значении.

«Хотя бы посредством обыкновенного юбилея», – сказал я. Что значит это «хотя бы»? Позвольте мне отвлечься как можно дальше. Я нынешних юбилеев не люблю. Мысль их, положим, хороша, намерение их прекрасно. Но что ж мне делать, если вообще *формы* современных празднеств мне ужасно не нравятся! Победить это чувство я не в силах, тем более что и разум мой, моя теория это чувство оправдывают. Ужасно некрасиво! Да позволено мне будет выразиться грубее: *хамство*! Не моральное хамство, нет, избави Боже! Зачем же так думать! Это было бы несправедливо. Во всяком празднестве и нравственный смысл его, и душевное настроение участников могут быть прекрасны. *Нет, не нравственная, но эстетическая сторона почти всех празднеств XIX века не хороша. Не душевный смысл их, а пластические формы ужасны!*

Я уверяю Вас, что я давно бескорыстно или

даже самоотверженно мечтал о Вашем юбилее (я объясню дальше, *почему* не только бескорыстно, но, быть может, даже и самоотверженно). Но когда я узнал из газет, что ценители Вашего огромного и в то же время столь тонкого таланта собираются праздновать Ваш юбилей, радость моя и лично дружественная, и, так сказать, критическая, ценительская радость была отуманена, не скажу даже слегка, а сильно отуманена: я с ужасом готовился прочесть в каком-нибудь отчете опять ту убийственную строку, которую я прочел в описании юбилея А. Н. Майкова (тоже высокоценимого мною, признаюсь, с несколько меньшим субъективным пристрастием).

Какая же была эта убийственная строка?

А вот она: *«Вошел маститый юбиляр во фраке и белом галстуке!»* – Увы! Не лучше ли было бы уж умолчать об этом?

Конечно, во фраке, а не в халате и даже не в сюртуке. И так можно догадаться! Все знают, что со времени объявления «прав человека», ровно 100 лет тому назад началось пластическое искажение образа человеческого

на демократизируемой (т. е. опошляемой) земле. Все и так знают, что изо всей природы только один европейский человек в XIX веке начал для праздников своих надевать траур, – и траур при этом куций: не мантию черную, а черный камзол какой-то с двумя черными же хвостами сзади.

Вся природа украшается для празднеств своих. Весна зеленая, лето красное и золотая первая осень – пестрее зимы. Праздник возрождения; праздник встречи с жизнью; праздник бессознательной любви и цветения; праздник прощания перед долгим отдыхом и сном. («Цветы последние милей роскошных первенцев полей!»[3]) Какой может быть праздник у растений, кроме праздника бессознательной любви, стихийного влечения. У них не может быть ни религиозных, ни общественных праздников; у них есть только летний праздник полового стремления. И вот эти растения в пестрых цветах.

Красивые цветы совсем не нужны им для ближайшей цели. Многие травы и большие деревья цветут цветами зелеными и невидными, и это не мешает им размножаться, но

большинство растений цветет цветами разноцветными, иные душистыми. *Это не для них самих.* Это роскошь, это избыток сил прекрасного, это – поэзия. Поэзия жизни самой, а не поэзия отражения в человеческом искусстве. И у многих животных есть такой ненужный для них самих избыток красоты, есть гривы пушистые, хвосты, рога изящные. Не особенно красивый серый попугай живет и размножается точно так же, как и великолепные какаду и ара. И наша галка, положим, наслаждается жизнью не хуже других птиц, обходясь без пунцовой головы, без голубых крыльев, без хохла. Это так; но с другой стороны, ведь и райской птице все ее избыточные и прелестные украшения не мешают испытывать, не хуже галки, разные приятные ощущения. А со стороны смотреть на сборище галок совсем не то, что любоваться на множество райских птиц.

Почему же и к людям не прилагать той же *внешней* эстетической мерки?

Почему бояться сознаться, что смотреть на взвод кавалергардов, идущих в Петербурге на царский смотр, – это наслаждение для здоро-



го вкуса; а взирать на заседание чиновников или профессоров – тоска... Однажды (несколько лет тому назад) я шел по Петербургу; конечно, тоже в бессмысленном цилиндре и уродливом (но «удобном» будто бы) сак-пальто; шел и увидел такой взвод кавалергардов. Под одним молодым, свежим офицером лошадь прыгала и поднималась на дыбы. И он, видимо, был рад этому. Я постоял, долго глядя вслед молодцам, подумал о своем штатском, европейском убожестве; пошел в раздумье дальше и вспомнил по связи мыслей о двух ученых «рефератах» (почему же *не докладах?*) или диссертациях, что ли, о которых я прочел перед этим в газетах... Один из них имел предметом – *«Образ жизни русских дождевых червей»*, другой трактовал *«О нервной системе морского таракана»!* Несмотря на то что заглавия эти довольно забавны, я не забывал ни известного латинского изречения: «Великое да созерцается в малом», ни другого наполеоновского: «От великого до смешного один шаг» (или в приложении к данному случаю наоборот – «от смешного до великого один шаг»). Отчего же ученым лю-

дям и не вникнуть в нервную систему таракана не только морского, но и обыкновенного, кухонного? Быть может, в ней найдется что-нибудь особое, способное даже и неожиданно пролить свет на функции нервной жизни вообще? Быть может, с другой стороны, дальнейшее развитие самой точной науки докажет даже и математически, что многоученость и многокнижность с истекающими из них слишком уже дерзкими открытиями и изобретениями вредна *нервам*; физиологически вредна, психически, социально, умственно даже вредна. До того, положим, вредна, что сама *добросовестная* наука потребует для дальнейшего разумного существования человечества некоторой доли того, что нынче еще по старой привычке зовется бранным словом «обскурантизм»[4]. Захотят поставить экран перед утомленными глазами человечества, найдут нужным – понизить до копоты пылающий светоч рассудка. Отчего же не предположить этого? Если наука, в пределах наших умственных сил, бесконечна, то что же будет за бесконечность эта, если она не может вместить в себе и возможности преднамеренного

самоограничения? Реакция есть во всем, и в науке было множество частных реакций.

Отчего же не настать и великой общей реакции? Отчего же не предположить, например, что науки высшие (по предмету), психологические и социальные, не потребуют со временем ограничения влияний на человечество наук низших: физики, неорганической химии, механики?

И вот и таракан – и морской, и обыкновенный, изучаемые «честными тружениками науки», могут дать толчок к чему-нибудь великому. Нервная система лягушки под рукою Гальвани дала же великий толчок для изучения электричества, благодаря которому прославились теперь Эдисон и русский европеец Яблочков; почему же таракану, например, или дождевому червю не дать случайного, хотя бы и обратного толчка, после которого (предположим) в конце XX века имя Эдисона будет предано какой-нибудь научно-социальной анафеме. Отказалось же человечество сознательно и преднамеренно в первые века христианства от стольких дорогих приобретений и созданий классического мира? «Плоды

древа познания» могут погубить, наконец, «древо жизни», если «царство» этого, теперь слишком прямолинейного познания не разложится в себе. Ибо «теория, мой друг, сера везде, а древо жизни ярко зеленеет», сказал Мефистофель студенту[5]. Нынешний же прогресс на всех поприщах и во всех странах ведет к чему-то, именно – *серому*, «среднему». Серая теория равенства, ассимиляции, однообразия, быстрого (при помощи изобретений) смешения всех цветов жизни в один бесцветный – эта теория торжествует на практике. Чтобы спасти жизнь, т. е. разнообразие и сложность (не *орудий* всесмешения, а самого *социального материала*), нужно, чтобы сознание восстало, наконец, на сознание, наука на науку, познание на собственные излишества и т. д. Надо, чтобы сознание попыталось восстановить хоть сколько-нибудь культ бессознательности, чувства, преимущества страстной воли над рассудком, крови и плоти над нервами.

Вот куда привела меня мысль от красавца кавалергарда и дождевых червей!.. Я сокращаю мою речь; обрубаю ветви у древа моей

фантастической мысли. Она уже слишком рвется в необъятное, которое «объять невозможно», как сказал прекрасно Козьма Прутков.

*Миг один – и нет волшебной сказки!..*

*И душа опять полна возможным...[6]*

Но и спускаясь ближе к почве, к этому возможному, оставляя пока все эти любимые мечты моего рационального и просветительного обскурантизма, я мог, при всей нелюбви моей к размножению книг и ученых, допустить, что полезны бывают иногда не только главные жрецы современного идола этого (точной науки), но даже и дьячки и пономари его... Могу допустить, что и тот ученый, который изучает «образ жизни дождевых червей в России», и тот, который исследует «нервную систему таракана», – оба могут принести ближайшую, непосредственную пользу даже тому самому кавалергарду, на которого я любовался. Благодаря лягушке Гальвани и мне в Москве гальванизмом помогли раз от жестокого страдания. Правда, что *явная телесная*

польза от этого была только мне одному; остальные же последствия моего выздоровления сомнительны, как для меня, так и для пользы других людей... Конечно, теория *всеобщей* пользы есть самая шаткая из теорий, и уж одна популярность ее в XIX веке весьма плохо ее рекомендует; ибо в XIX веке если не все, то очень многое естественное вывернуто наизнанку. *Общей благоденственной пользы* нет, конечно; но *одному* кавалергарду тому или его прекрасному коню, возможно при случае, благодаря изучению нервной системы низших животных, принести пользу. Какое-нибудь открытие; за открытием лечение или гигиеническая мера. Благодаря тому, что «скромный» (?) ученый потрудился над насекомым или полипом каким-нибудь, кавалергард может стать еще свежее и красивее; его конь еще крепче и великолепнее. А может быть (кто знает!), в этом кавалергарде таится будущий Скобелев или Черняев, будущий Лермонтов или будущий Афанасий Афанасьевич Фет?

Ведь и Лермонтов был лейб-гусаром, и Вы были кирасиром[7] и, как слышно, отличным

наездником. Ну, вот и целой России и гордость, и польза *своего, специального рода, но все-таки не всеобщая*. Бисмарку и германцам вообще Скобелев не казался, например, полезным, и Лермонтов был полезен покойному теперь Мартынову разве только тем (духовно), что Мартынову приходилось не раз молиться и служить панихиды по рабе Божиим *Михаиле*. Люди без вкуса и до сих пор у нас находят, что Ваша поэзия бесполезна, ибо из нее сапог не сошьешь.

Знание «образа жизни русских дождевых червей», говорю я, точно так же, как и знакомство с нервной тканью таракана – может случайно или не случайно принести пользу не одному человеку, но, быть может, и многим, *в частности*.

Я забыл уж, вредны ли они для хозяйства или полезны. Не помню. Во всяком случае, если они имеют какое-нибудь отношение к почве, а почва, конечно, прежде всего, важна для хозяйства, то само собою следует, что богатое доходное имение даст возможность для проявления всякой эстетики, и жизненной, реальной (здоровье, свежесть, конь хороший,

каска золоченая, дорогая одежда, латы), и *отраженной*; можно писать стихи не «о скорби».

Я признаюсь, не понимаю даже, как можно, живя постоянно в дешевых столичных меблированных комнатах, писать такие стихи, какие Вы писали, —

*Снова птицы летят издалека  
К берегам, расторгаящим лед.  
Солнце теплое ходит высоко,  
И душистого ландыша ждет[8].*

Не то что нельзя, но даже и не следует, по моему... Нейдет!

Итак, я успокоился... Я вынужден был допустить, что и дождевой червь, и таракан, и специалисты, их изучающие, могут быть даже и для эстетики при случае полезны... И для прекрасного в жизни (А. А. Фет молодой кирасир, напр<имер>), и для прекрасного в искусстве...

*(Вижу: кто-то скачет  
На лихом коне, —  
Друг мой, друг далекий,  
Вспомни обо мне!)[9]*

Хорошо! Но зачем же они, эти ученые, на



заседании своем в пиджаках? Или подобно всем, и молодым женихам, и маститым юбилярам, «во фраках»?

Вспомним великого анатома Везалия и врача Амбруаза Паре в толковых статуарных рясах! Вспомним Ломоносова и Державина в расшитых цветных кафтанах, в чулках с башмаками. Вспомним Бэкона Веруламского и Шекспира в буфах, оборках и бантах!

Не мешала эта пышность им делать свое серьезное дело! Поверьте мне, и эстетика столь ценимых этих *отражений* в стихах, на полотне, в бронзе и мраморе, – и она не устоит надолго, *если в самой пластической стороне жизни* не будет больше идеализма.

Поверьте, это не пустяки – эта внешность; это очень важно! Эта внешность есть выражение еще неясно понятого какого-нибудь внутреннего психического закона.

*Каждый новый век* (в новейшей, по крайней мере, истории) вносил *новый стиль* одежд и обычаев; и этот общий стиль с незначительными колебаниями в оттенках держался до нового века и до утверждения *нового духа*. Неужели один только XX,

уже наступающий век будет исключением и черный фрак, пиджак, сюртук, цилиндр и панталоны лягут в могилу вместе с последним образованным человеком на земном шаре? Это было бы очень грустно, если бы было правдоподобным. Не будет нового внешнего *стиля в жизни* – значит, не будет уже никогда *и нового духа*, а останется навеки веков все тот же всепожирающий, всеравняющий, буржуазный.

Но такой застой мысли и вкуса возможен только в двух случаях: или в том случае, когда все люди сознают (или, вернее сказать, *вообразят себе*), что человечество дошло во всем уже до наивысшего, доступного на земле совершенства; или, напротив того, если *гибель* человечества, общее вымирание его или последняя всеземная катастрофа так уже близки, что некогда и духу новому созреть; и людям, начавшим свою земную карьеру в детской простоте звериных шкур и фиговых листьев, придется кончать ее в старческом упрощении фраков и пиджаков.

О том, что человечество уже достигло до совершенства, мы ни от кого еще пока, слава

Богу, не слышим.

Что же касается до всеобщей гибели и смерти, то хотя нам одинаково пророчат ее и христианская религия, и пессимистическая философия нашего времени, и, наконец, естественное чувство здравого смысла (ибо все живое, органическое должно когда-нибудь разрушаться и гибнуть), но все-таки позволено думать, что конец историческому миру нашему не так уже близок теперь, чтобы все человечество было бы расположено поступать так, как поступил, говорят, однажды хладнокровный герцог Веллингтон на корабле во время сильной бури. Он спал; проснулся и хотел было надевать сапоги, но в эту минуту вбежал к нему испуганный адъютант и воскликнул: «Милорд, мы погибли!» – «О, – ответил герцог, – тогда и одеваться не стоит». Снял уже надетый сапог и лег опять.

Нет, такого равнодушия еще незаметно. Люди, вопреки советам гр<афа> Л. Н. Толстого, хотят еще пиры давать и танцевать, хотят щеголять. Но если уж щеголять, так со вкусом и толком. Если пировать и плясать, так было бы на что и со стороны порадоваться! В преж-

них одеждах и в прежних плясках была всегда *идея*. В упрощенных нынешних одеяниях и в искаженных нынешних танцах ее нет. Идея отлетела; символ утратился, и остались только условность тупой привычки без внутреннего значения и стариковская какая-то опрятность белой, накрахмаленной груди и белых или палевых перчаток!

Перчатки – это имеет смысл; но почему же непременно *белые* или *почти белые*? Отчего не пунцовые? Отчего не расшитые? Предпочтение только опрятности, только чистоплотности и только комфорта – роскоши, пышности и красоте – есть само по себе уже признак усталости и устарения.

По-моему, что-нибудь одно; или думать именно так, как граф Толстой: «Не нужно во все балов; не нужно пиршеств; не нужно роскоши и денежных затрат; *патриархальная простота*; физический труд; близость к природе; кроткая и трудовая пасторальность».

*Такая* всеобщая простота, без фабрик, без машин, без ужасающих ум библиотек, без подавляющих душу огромных городов, с невинными и небольшими развлечениями – стала

бы наверное и скоро живописна сама собою. Особенно эта пасторальность стала бы живописна и мила, если бы граф по известной любви своей к человечеству дозволил бы нам еще одно утешение, еще одну, кажется, безвредную отраду, – разрешил бы нам при этом хоть самые скромные и недорогие храмы строить, зажигать лампы, «поднимать» иконы и т. п. Да, при последнем условии – это было бы очень хорошо – настал бы золотой век правды, кротости, скромного благоденствия, взаимной любви и первобытной поэзии.

Но ведь такая всемирная идиллия невозможна в столь поздний и рассудочный исторический возраст, каков наш.

К тому же подобные *надежды* противоречат и *пророчествам* христианства гораздо более, чем *разрешение* попить иногда в меру и благородно противоречит *заповедям, советам* и даже *примерам* самого Спасителя. Он Сам соблаговолил попить на свадьбе в Кане Галилейской [10], как справедливо было замечено недавно в «Русском деле». Но относительно всемирной идиллии нет обещаний

в Евангелии; а предсказаны бури страстей, войны, междоусобия, глады и трусы[11] до скончания века!

Итак, и с христианской точки зрения изредка, по немощи нашей повеселиться несравненно позволительнее, чем проповедовать ересь безбожной этики и невероятной всеобщей любви.

Если же позволительно и желательно в меру щеголять, плясать, пировать, так надо, чтобы это было в самом деле красиво, изящно и осмысленно. Чтоб было и на полотне *изобразимо*, чтоб и *природу* не безобразило.

А разве нынешний быт изобразим на полотне хотя бы в той мере, в какой изобразим даже манерный, но пестрый быт XVIII <века>?

Разве сам Пушкин Репина чернильным пятном не портит Южного берега и моря, написанных Айвазовским? (Я не видел этой картины, но заглазно уверен, что портит; во всяком случае, самый простой крымский татарин больше бы украсил природу Южного берега, чем великий русский поэт в европейской одежде XIX века.)

Что же касается до вопроса об отношении

общей устарелости к прекрасному, то и сам Прудон, разрушитель из разрушителей, Прудон, которого идеал есть полнейшее равенство и однообразие человечества, сознается, однако, в своей книге «О принципе искусства»[12], что *«ослабление эстетического чувства было бы верным признаком устарения и приближения всего человечества к своему концу»*.

Конечно, и он, по общей большинству писателей дурной привычке, говорит об эстетике искусства больше, чем об эстетике *самой действительности*; но я повторяю, недолго проживет и эстетика отражений в духе нашем, если *дух прекрасного отлетит мало-помалу ото всего в действительной жизни!*

Простите мне, что я, «начавши за здравие», свел как будто за упокой.

В заключение же этого письма позвольте объяснить Вам, почему я, радуясь так живо, что юбилей Ваш праздновался, с другой стороны, так доволен, что могу радоваться на него *не вблизи*, а отсюда, из моего «прекрасного», мало современного «далека».

«Если бы я был теперь в Москве, то мне

пришлось бы (сказал я в начале письма) или быть слишком бескорыстным, или даже самоотверженным».

Цня Вас так давно, *давно*, и так высоко; благодарный Вам еще с <18>50 года (когда я впервые узнал Ваши стихи) за те наслаждения, которые они мне доставляли, я, конечно, захотел бы принять участие в предстоящем празднестве, в обеде, положим, который Вам дали в Эрмитаже.

И что ж бы мне предстояло тогда?

Принять участие в *приготовлениях* и – не поехать на пиршество, на праздник чистой поэзии, не есть самого хорошего обеда, не слушать музыки; не видеть довольно редкой в современной России вещи – *торжества правды*, хотя бы и поздней; не пожать Вам руки; не обнять Вас, не поздравить вместе с другими...

Или *надеть* черный фрак (он у меня висит в шкафу, вообразите!) и белый галстук и стать самому тоже уж довольно «маститым» участником прославления любимого юбиляра... Ах!.. тоже... пирующего в черном фраке и белом галстуке!..



Первое – не поехать – было бы весьма неприятным бескорыстием; второе – уж и сам не разберу – что такое? Дурной бы это был поступок или хороший? Малодушная ли измена давним вкусам (если уж Вы не разрешите мне и это назвать *убеждениями*)?

Или это было бы торжество нравственности над эстетикой, моей приязни и моего уважения к Вам над фанатизмом ярких красок и красивых линий, колорита и складок, фанатизмом, который я, как видите, безумно, упорно и бесстыдно готов исповедовать!

Да и как же иначе?

Если досадно видеть, что сухие труды серьезных ученых совершаются в уродливой и вовсе уже *несерьезной* одежде, то что же можно чувствовать, видя, именно – *видя глазами*, что русские люди до сих пор еще и на балах танцуют, и свадьбы играют, и праздники такой *радужной* поэзии, как Ваша, празднуют все в том же *куцом трауре*, который *Запад* надел с горя по своему великому, религиозному, аристократическому и артистическому прошедшему!

Разве у нас есть *такое* великое *прошедшее*

?

Разве у нас нет уже никакого *русского будущего*? Пусть так думает В. С. Соловьев, если ему это утешительно! *Доказать* он этого нам *в точности* не в силах.

Верить же ему мы не обязаны. Верить даже и тому, что нам кажется по рассудку неправдоподобным, можно только в порядке строго религиозных мыслей и чувств. Но сочинения г-на Соловьева не катехизис, одобренный св<ятым> Синодом или патриархами; и сам он нам не папа, и не оптинский или афонский духовник.

Мы можем его с удовольствием и даже иногда с наслаждением, благодаря его дарованиям, читать и слушать, но *слушаться* его никто не обязан без ясных доказательств; и потому я нахожу, что относительно *русизма* вообще (а следовательно, и относительно *форм внешнего быта*), гораздо вернее и приятнее разделять надежды Конст<антина> Аксакова, Хомякова и Данилевского.

Они находили, что обретение или создание красивых и своеобразных форм этого быта *будет* *вернейшим признаком* *полной зрелости*

*сти и эмансипации русского ума и чувства.*

Страстная идея ищет всегда выразительной формы.

# Примечания

Данный эпиграф является переделанным К. Н. Леонтьевым вариантом стихотворения «Журналист, читатель и писатель» (1840) М. Ю. Лермонтова, у которого было так:

*Когда же на Руси бесплодной,  
Расставшись с ложной мишурой,  
Мысль обретет язык простой  
И страсти голос благородный?*

[^^^]

Цитата из стихотворения А. А. Фета «На пятидесятилетие музы 29 января 1889 года».

[^^^]

# 3

Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Цветы последние милей...» (1825).

[^^^]

## 4

Обскурантизм (лат. *obscurans* – затемняющий) – крайне враждебное отношение к просвещению и науке; мракобесие.

[^^^]



# 5

Цитата из поэмы И. В. Гёте «Фауст»  
(1808–1832).

[^^^]

## 6

В оригинале в фетовской «Фантазии» несколько иначе: «Миг еще... и нет волшебной сказки, И душа опять полна возможным».

[^^^]

Кирасиры – вид тяжелой кавалерии, в которой наездник имел кирасу и каску и был вооружен карабином и пистолетом.

[^^^]

Цитата из стихотворения А. А. Фета «Весенние мысли» (1848).

[^^^]

Цитируется его же стихотворение «Облаком волнистым...».

[^^^]

ИИ 2:1-11.

[^^^]

# 11

Мф 24:6–8; Мк 13:7–8; Лк21:9–11.

[^^^]

Работа Пьера Прудона называется «О принципе искусства и его социальном предназначении» (1858).

[^^^]